

## Афродита из Пергама

— Нет, не надо замен! Нет, не надо  
подделок стеклянных!

М. Цветаева

Все-таки он свернул налево.

Серединой улицы трусил узенький разнорослый сквер. Черные вымокшие деревья, — кажется, каштаны — топорщились перед серыми и оливковыми фасадами.

(Ему нравилась осень — неприкрытостью. Листья сброшены, пыль смыта. Готовясь принять снежное благословение, земля обнажается. Закутываются только люди.)

Разноэтажные здания смыкались и выстраивались в сплошные линии: уже замеченная им в старых городах привычка домов держаться друг за друга. Построенные в разное время, они радовали глаз разнообразием фронтонов и подворотен, чересполосицей карнизов, пестротой колонн и лепнины. В сумбурной мешанине стилей было объединяющее простодушное безвкусие.

Хорошо, что разноэтажные.

Хорошо, что одновременные...

Он остановился, споткнувшись всем телом. Улица кончалась глухим забором: за ним ощущался обрыв.

Старик был прав. Пришлось повернуть вспять.

Почему, собственно, он ему не поверил? В конце концов, этот его вечный скептицизм несносен!

Теперь навстречу никто не попадался — словно прохожие обходили квартал его блужданий. Он свернул раз, другой (была прелесть в этом шестивии наугад), прежде чем понял вдруг, что проходит мимо того, что искал. Этот портик с колоннами провинциального ордера встречался ему на нескольких афишах, призывавших посетить местный музей.

В фойе было сумрачно.

Тяжело громоздилась вверх мраморная, с ковровой дорожкой в медных прутах, лестница. В пустом гардеробе справа от нее притулилась темнота. Дремотно белели у стен бюсты.

— Молодой человек! — окликнули сзади.

Он оглянулся.

Голос исходил из приземистой будочки, воткнувшейся между входом и стеной слева и заслонявшей окно. Лица кассира за низким вырезом не было видно.

Сухая, с отмытыми до сини жилками, рука привычно царапнула по медякам. Уже взяв билет, он заметил в уголке каллиграфически вычерченный трафарет: "солдатам... детям... учащимся"...

Где-то внутри тошнотно завозилась тоска.

Усталость, исподволь копившаяся с утра, вдруг осела — словно мутный осадок, выпавший на дно из раствора — и расплзлась по телу.

Но метнувшийся было к выходу взгляд был отвергнут холодной вспышкой разума. Нет! Из-за... из-за такого пустяка?!

Он повернулся (скрипнули сырые кеды) и медленно стал подниматься.

Первый зал обрушил на него великолепие бронз, люстр, зеркал, блеск паркета и тяжелую декоративность потолка.

Понемногу эта суматоха убранства начала замедляться стремительно привыкшему глазу. Фарфоровые вазы отступали в углы; зеркала выстраивались по простенкам; канделябры и украшенные фигурами часы размещались под рамами в строгом ритме.

Теперь залу оставалось окончательно застыть и предстать равнодушным экспонатом, годным для рассматривания.

Но тут одна из женщин в черном, продолжавших беседовать возле окна, несмотря на появление посетителя, встала (другая продолжала стоять, недовольная, по-видимому, перерывом разговора) и направилась к нему.

Приближаясь из глубины зала, она, казалось, росла и вблизи стала громадной. Глаза ее смотрели спокойно и внимательно. И выражение участия и доброго вопроса, внезапно засветившееся в них, до того не вязалось — в представлении Сергея — с его обтрепанным видом и изможденным небритым лицом, служившими, как правило, поводом лишь для снисходительного недоумения, что он впервые смутился этой своей неприглядности.

Взяв билет из машинально протянутой им руки, она негромко проговорила: "Осмотр — слева", — указав направление привычным жестом.

Но, сразу представив безмолвный приток взглядов — цепенящий и опустошающий, — долженствующий возникнуть за спиной, он понял, что такое напряжение ему не по силам. И, пробормотав "спасибо", он ринулся к следующему залу, в обрамлении раскрытых дверей которого призывно виднелось что-то пестрое.

По стенам свисали тяжелые, перенасыщенные узором ткани; грудились

под стеклами витрин статуэтки; медные курительницы и резанные из дерева ларцы покоились на низких подставках. Таких же сандаловых слоников и многоруких костяных богинь он не раз видел в Музее восточных культур.

Обычно он находил удовольствие в рассматривании подобных рукоделий, слишком настойчиво повествующих о количестве труда, вложенного в каждый квадратный сантиметр их поверхности. Но сейчас его меньше всего могло увлечь это кропотливое искусство.

Впереди послышались голоса. Потом засмеялись. Легкая встревоженность взметнулась в душе. Но уже выходил навстречу молодой полотер, неся — единственной рукой — щетки и не успевшую еще остыть улыбку.

И прошел, не взглянув, пружинистой поступью...

Помедлив, Сергей вошел, стараясь перешагивать разлитые по паркету световые блики. Этот зал был еще меньше и совсем без окон. Пара бронзовых чудищ с квадратными оскаленными мордами охраняла вход. По углам стояли большие фарфоровые вазы с голубыми драконами на выпуклых скулах.

И один к одному (о, радость!) распластались по стенам свитки чуть поблекших от времени китайских пейзажей.

Он не знал другой живописи — такой сосредоточенной в себе и, в то же время, такой проникновенной. Блаженное умиротворение, неизбежно находившее при созерцании этих — словно не нарисованных, а напетых — извилистых сучьев, каскадов гор, неподвижных облаков — охватило его.

"Гляжу я на горы, и горы глядят на меня..." — прозвучало в памяти.

Здесь было и несколько натюрмортов — уже современных.

Но этикетка "мертвой природы" не подходила к этим наброскам, где цветков гвоздики и кузнечик на виноградном листе были одинаково одушевлены.

И каждый раз его поражала мера художественного чутья, выявленная в них.

Миросозерцание, выраженное в стручке красного перца.

Красочное пятно, заключающее философскую систему...

Сергей не искал имен художников и дат. Ноги сами по себе несли его от одного полотна к другому, останавливались, возвращались обратно...

Спохватившись, он взглянул на циферблат. И убедился в неизменности козней времени: до закрытия оставался час.

Досадно...

Ладно, можно обежать остальное и еще раз вернуться сюда. Так он и делает.

Но сразу при входе в следующий зал сапоги-скороходы, натянутые им на ноги внимания, резко затормозили бег. Камнем преткновения явились три миниатюры персидской хроники...

Затем форсирование пошло успешнее.

Кованые кувшины и остроносые туфли, халаты и ковры, щиты и кинжалы преодолевались, не успевая проникнуть дальше сетчатой оболочки глаз.

И снова — ах ты, пропасть! — японские игрушки...

Какая прелесть!

Интересно: приходилось ли им видеть матрешек? Не этим ремесленникам, лишь следовавшим традиции, а тем, далеким первооткрывателям и выдумщикам форм?.. Наверное, нет.

Тогда: разные зерна, на разных почвах проросшие, дали схожие плоды...

Зал был последним на этаже.

Он быстро спустился по неосвященной лестнице в одно колено (темень смутными пальцами прикрыла глаза) и переступил порог (свет ворвался в сразу расширившиеся зрачки), Крохотный, из одних углов зал обстал неподвижным хоромом серых фигур. В центре выкорчеванным пнем растопырился Бельведерский торс. За ним пристроилась обнявшаяся пара: краснолицый матрос и смуглая девушка в синем.

Появление постороннего не слишком их смутило, Быстрый перехлест взглядов был мгновенно притушен. Сергей поспешил, отвернувшись с безразличием, углубиться в барельеф надгробного камня. За спиной слышался приглушенный смех, потом шаги.

И по мере их удаления — уже где-то в других стенах — той же поступью, нога в ногу, но в обратном порядке — входила тишина.

Он облегченно выпрямился и огляделся. Мальчик из Помей, Талия, эгинский Геракл, Венера Медичи...

Усмешка тронула губы: любовь среди эллинских статуй... неплохой аккомпанемент.

Следующий узкий — коридором — зал всем тремя высокими арками продырявленным боком примыкал к другому, более обширному. Казалось, что находишься под сводами галереи итальянского палаццо, открытым во внутренний дворик. Желтые искристые занавеси струились складками, прикрывая два стройных окна справа. По прозрачным полкам стеклянных этажерок выстроились расписные — чернофигурные, краснофигурные — сосуды.

В пролеты арок слева проступали белые колени временем четвергованных торсов.

Сергей начал обход воздушного парада лекифов, амфор, киликов и гидрий. В искусстве Эллады его больше всего восхищало огромное чувство ритма. Хрупкие вместилища даров виноделия и парфюмерных причуд с не меньшей силой, чем скульптура и архитектура, донесли из другой эры сдержанную грацию великого, исчезнувшего во времени народа.

Подумать только, что подобные вещи производились в закопченных мастерских, на продажу, десятками и сотнями! И все же каждая капля этого потока (сколько их всюду рассеяно — черепков Золотого века?) ухитрялась быть индивидуальной.

Какое наслаждение вглядываться в удлиненные, сотканые из мышц фигурки, разгадывать смысл изображенных сцен и смутно ощущать аромат наивной веры древнего художника...

С растущим напряжением (внимание было на исходе) он досмотрел все и направился к главному нефу.

И встал.

Под аркой, у массивного квадратного столба, на высоком пьедестале, с шеей, перерезанной черным кубом подставки, — розоватая, с трогательно приоткрытым ртом, тугим узлом на затылке и замедленно-ждушим взором...

Щемящая нежность перехватила гортань... Перезвонная...

А, черрт! — вздрогнув, оглянулся. У столба, под ногами Дорифора примостился на складном стульчике юнец в толстом свитере. С альбомом на коленях, с карандашом. Безучастно, как на помеху, которую — только переждать, смотрел на Сергея.

Тот привычно прикрылся скучающим равнодушием. И из-под арки, из-под чужого взгляда, передвинулся к стоящему с другой стороны столба бюсту Перикла.

Проходил неспешно мимо, полоскал глаза белизной нагих и задрапированных тел — и затылком, лопатками, каждым позвонком чувствовал: стоит сзади, теплея мрамором кожи, смотрит доверчиво, ждет...

Вычертив прямоугольник зала, сел на пустовавший у выхода стул — за спиной теперь рисовальщика. Она отсюда не была видна.

Темно-зеленые стены, перебиваемые светлыми пятнами скульптур, замыкались в собственной незрячести. Три — в ряд — люстры горящими кустами свисали с потолка. Смутные отражения статуй лужицами растекались по навощенному полу. (Пергам — это в Малой Азии...) Стекала в ноги усталость, бродили мысли.

Копьеносец Поликлета — воплотившаяся мечта его тщедушного тела

(хотя рост у них одинаковый, 185). Иногда, засыпая, он видел в себе его упругую мощь. И не знал тогда, что с ней делать...

А когда-то боялся темноты...

(...не оливковая, а серая скорее, и розоватый — цвет тронутого временем мрамора — просвет изнутри...)

До чего бесстрастны эти во всем безупречные боги! У Артемиды и Дискобола — одинаково неподвижные маски на лицах. И даже Ниоба застыла в своем, театральном выраженном — не страсть, а пантомима — жесте отчаяния.

(с приоткрытым ртом...)

А в Эрмитаж они как и не сходили вместе... Эх, Лешка, Лешка...

Может быть, не так уж случаен был тот нелепый и бешеный смерч, так внезапно отбросивший в стороны? Странно, что — в первый же день приезда в Питер, в трамвае (падал снег вокруг фонарей)...

(...с маленьким круглым подбородком...)

Уже летом, в день его рождения, пришла телеграмма — единственная телеграмма в тот день рождения. Он не ответил. Разве пьют из склеенных чашек?

(...с медленным и покорно ждущим взором...)

Но, если спросят: любишь его — первого и самого большого своего друга?

Не знаю. "Не знаю. Это было".

(...с тугим узлом волнистых волос на затылке...)

Многое было.

И любовь была...

Дверка слева, между Орами и Тезеем, — "служебный вход" — отворилась и — в красном платке, с седыми из-под него клоками — вынырнула сухонькая старушка. Одновременно поднялся юнец в свитере. Отодвинул к стене свою подставку, накрыл альбомом и, сообщив неизвестно кому: "Я это пока тут оставляю", — удалился.

Старушка в черной своей униформе прошелестела в смежный зал и из-под желтой шторы с подоконника извлекла молочную бутылку и батон. Снова хлопнула дверь.

Они остались вдвоем...

Вглядываясь в тонкий овал лица, он старался вспомнить — по кускам, в беспорядке — фриз алтаря Зевса. Кажется, ее там не было.

Да и как бы могла она — нежная, розовая — попасть в такое побоище?

Он смотрел.

Метроном сердца, вырастая, заполнял зал. Не отводя взгляда, он медленно потянулся и холодеющими губами коснулся ее — лепестками раздвинутых губ...

ГИПС!

Механическая, "с точной передачей формы и цвета"...

Как грубо... Как глупо! Жаркий стыд хлынул в глаза и, сцепив челюсти, он смахнул даже не ощутившей боли рукой прекрасную, пустую голову...

Пол, глухо треснув, расцвел белыми брызгами. Дрожь неутихшей ненависти рефлексом прошла по ноге: ударил с силой по исковерканному (торчали концы толстой проволоки) лицу — и выбежал из зала...

Дверь выводила прямо в фойе, слева от лестницы.

Он пронесся мимо кассы (окошко было уже закрыто) и вырвался на тротуар. Тягучая (где-то прозвенел трамвай) темнота покалывала глаза редкими блестящими фонарей и окон. Вкладывались один в другой переулочки, испуганно оседали на поворотах углы домов.

Понемногу кровь замедлила гонку.

И, остановившись перед выявившимся из мрака забором, он увидел, что снова попал в тупичок над обрывом.

Ноги не держали его. Кое-как: один... два... три шага — дотащился до скамьи. Вытянулся. Закурил.

Лениво, как дым, потянулись обрывки мыслей. Про китайцев совсем забыл... Все равно скоро закрыли бы...

Ничего не повторяется... Мы не возвращаемся... никогда.

Вернулся же вот сюда!

Конечно: она не виновата... Так вот и станешь шизофреником!

И какой еще алтарь — там же горельеф...

Распустил слони... идиот. И нога болит...

Он раздавил подошвой окурочек, встал и, скрипя по песку, быстро пошел из сквера.

Коктебель

## Вчерашний камень

Как-то я гулял в парке. Была ранняя осень, середина дня и позднее прозрение. Полдня я провозился в мастерской с поломанным мотором. Ржавый болт не хотел завинчиваться, хоть ты лопни, несмотря на масло, керосин и разводной ключ. В итоге я психанул, болт забил и пошел проветриться. Подсел на скамейку к какому-то чудачу, который своим видом напоминал индуса. (Так оно и оказалось.) Он вежливо спросил:

— А прохладно сегодня, не правда ли?

— Угу, — автоматически ответил я. — Пляж накрылся, это уж точно.

Он предложил сигарету, мы закурили и как-то незаметно разговорились.

— Еще вчера, наверное, — продолжал он с легким акцентом, — многие проклинали жару и молили о том, чтобы скорей похолодало...

— Да уж, лето выдалось дурацкое: жара, холера, пляж закрыт. Погода — как ложка после обеда. Все не вовремя.

— И это не только погода.

— Конечно. Если не спешишь, трамвай не ломается. Закон подлости.

— А вы не думали, что кроме этого так называемого закона может существовать, скажем, закон Благодородства?

(Я давно заметил, что в целом я всегда облагораживающе влияю на людей: имея дело со мной, они рано или поздно затрагивают темы благодородства, трезвости, честности, самоуважения, воспитанности и т. д., чего с ними обычно не случается, если они предоставлены только самим себе.)

— Допустим, — продолжал он, — одни силы потворствуют вашим темным необузданным страстям, играют на вашей злобе, алчности, эгоизме, искушают вас и порабащают. Другие, напротив, стремятся освободить вас и направить к Свету.

— Простите, а вы часом не йог? — поинтересовался я.

— Нет, ну что вы. Я же курю. Далеко не каждый индеец — йог. Я тут сугубо из-за бизнеса. Но когда-то я закончил у вас институт.

— То-то я смотрю, у вас с русским — все о'кэй.

(Не дай Бог, он сейчас начнет свое — о сад хане, пуруше, карме и прочей дряни — я ж не выдержу!)

— Язык — дело практики. Так вот, о Законах Благодородства: мы их проявления часто просто склонны не замечать.

— То есть?

— Дело в том, что мы все время чего-то хотим. Что-то регулярно,